

Т.Я. Орлова

### Характер Николая I в художественной интерпретации Д. Мережковского и Р. Гуля

*Аннотация:* К личности Николая I Д. Мережковский обращается в романе «14 декабря», который входит в трилогию «Царство Зверя». По мысли Мережковского, Антихрист появился в России во время правления императора Петра Первого, а в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в стране свое царство – царство зверя. Восшествие Николая I на престол сопряжено, в представлении писателя, со скорой победой темных сил над Христом.

Николай I занимает одну из главных позиций в системе персонажей. Но обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя, реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаясь осмыслить и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и русского самодержавия в целом.

Изображая российскую власть, пребывавшую в состоянии кризиса, и Тайное Северное общество декабристов, писатель акцентирует внимание не столько на их гражданско-политическом противостоянии, сколько на нравственной сути обеих сторон. Ловкая смена Николаем I масок: то он добрый, страдающий государь, то благородный Дон Кихот – выявляет его двойственность, отраженную в методах его политики. Мережковский категорически отвергает и искаженно-циничное обращение с божескими заветами некоторых декабристов (Пестеля, Рылеева), что, в его восприятии, еще более обостряет противоборство добрых общечеловеческих и безжалостных дьявольских начал. Начавшийся мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но не восстанием, как определяли свое выступление декабристы. Писатель не скрывает своего отношения к происходящему: это светопреставление. И не Николай I – победитель и спаситель страны, Россию спасет Христос, и «Россию спасет Мать».

Вторую половину жизни Николая I описывает Р. Гуль. Внутренний художественный мир романа воспроизводит ситуацию 1830–1850-х гг., представленную в двух исторических лицах – Николая I и революционера Бакунина. Принцип организации художественного материала – сопоставление характеров Николая I и Бакунина, прямое или подразумеваемое, конфликт позиций героев, их мыслей. Описывая противостояние диктаторской власти и революционеров, Гуль в то же время показывает не только разделяющую их пропасть, но и сходство между ними.

Если в интерпретации Мережковского Николай I – человек внутренне противоречивый, то в восприятии Гуля русский император – личность состоявшаяся. Масштаб его государственных амбиций расширился в высшей степени: он уверен, что может управлять политической жизнью не только России, но многих других стран и народов.

Мережковский отразил момент вступления Николая I на престол, Гуль представил вторую половину его жизни, вплоть до кончины. Литературный облик русского императора выходит за фактические рамки и подвергается художественной обработке. В изображении Николая I есть определенная динамика: Гуль не только и не столько продолжает хронологическую линию его жизни, но показывает собственное, во многом отличное от Мережковского, восприятие личности Николая I.

*Ключевые слова:* характер, система персонажей, жанровые, сюжетно-композиционные особенности, религиозно-нравственные, философские вопросы, историческая основа, декабристы, Николай I, Бакунин, Герцен, Маркс

*Abstract:* The phenomenon of Nicholas I attracted attention of D. Merezhkovsky who portrayed him in the novel «Chetyrnadtsatoye Dekabrya» («December, 14») – a part of the trilogy «Tsarstvo zverya» («The Kingdom of the Beast»). In the opinion of Merezhkovsky Antichrist appeared in Russia during the reign of Peter the Great, and in the XIXth century Christ in Russia was defeated by forces of evil, and Russian Empire turned into the kingdom of the beast. The accession to the throne of Nicholas I symbolised this win of evil.

In the novel Nicholas I is placed in the center of the system of literary characters. But the task of the author was not only to create the literary image of Russian Emperor but to show his philosophic conception, views on nature of goodness and evil, his thoughts about moral duty of Russian Emperor and Empire.

Describing the power during the crisis and the Secret Northern Society of the Decabrists, Merezhkovsky points out not only the political distinctions but especially the moral principles of the opponents. The skillful changing of masks that was usual for Nicolas I (warm-hearted, suffering tsar; noble Don Quichotte) showed its duplicity which was reflected in its politics. But for Merezhkovsky was unacceptable

the cynical treatment of the Lord that had usual practice for some Decabrists (Pestel, Ryleyev). In Merezhkovsky's opinion this is the main cause of the intensifying the dramatic struggle between the forces of goodness and forces of evil. The Revolt of the Decabrists Merezhkovsky had named mutiny, the disorders – not revolt as it was named by its participants. The author expressed his attitude to this event straightly: this is a doomsday. And not Nicolas I, but Christ is the winner and savior, He will save Russia, and the Mother will.

The second part of the life of Nicolas I is described in R. Gul's novel. There was reproduced the period of 1830–1850<sup>th</sup> there which was personified in the two historic characters – Nicolas I and the revolutioner Mikhail Bakunin. The material was organized so to compare them to discover the evident and the secret features of these personalities, their conflicts, thoughts. Analysing the Power and the mutineers Gul noted not only difference between them but similarity.

Merezhkovsky shows that Nicolas I is in crisis, Gul describes the person who took place. The scope of his ambitions was widened considerably: he is sure that he can rule not only in Russia, but in many other states.

Merezhkovsky showed the moment of Nicolas' I coming to the throne, Gul – the second part of the emperor's life, down to his death. Literary character of Nicolas I is going out the bounds of the history, it is subjected to artistic treatment. There is some dynamics in the character of Nicolas I: Gul does not keep to the chronology of the Emperor's life – but shows own, very distinguished from Merezhkovsky's view, perception of Nicolas' I personality.

*Key words:* literary character, the system of literary characters; features of a genre, plot and composition; religious, moral, philosophical questions; historical basis; the Decembrists, Nicholas I, Bakunin, Herzen, Marx

К личности Николая Д. Мережковский обращается в романе «14 декабря», который входит в трилогию «Царство Зверя». В ней писатель опирается на философские постулаты, выдвинутые в более ранней трилогии «Христос и Антихрист». По мысли Мережковского, Антихрист появился в России во время правления императора Петра Первого (роман «Петр и Алексей»), а в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в стране свое царство – царство зверя. Такая идейно-философская грань проблематики прослеживается в драме «Павел I», в романах «Александр I» и «14 декабря». Обрисовывая русскую действительность первой трети XIX в., поступки и поведение персонажей, Мережковский, «существуя вне вымышленного мира»<sup>1</sup>, очерчивает свой авторский горизонт художественного внимания и реализует основные моменты своего миропонимания.

Определенную нагрузку в этом плане несет подзаголовок – «Четырнадцатое», данный в начале романа. Смысл этого знака-символа «объективно

<sup>1</sup> *Stanzel F.K.* Theorie des Erzählens. 5 unveränd. Aufl Göttingen, 1991. S. 71.

осуществляет себя... как динамическая тенденция; он не дан, а задан»<sup>1</sup>. Этот рамочный элемент играет определенную роль в сюжетно-композиционном развитии: многозначные оценочные комментарии, заложенные в нем, расширяют сюжетные границы, намеченные любовной завязкой, раскрывая в романе философские и исторические стороны – в размышлениях писателя о прошлом, настоящем и будущем России. Кроме того, «четырнадцатое» – мрачная цифра в авторской интерпретации. Восшествие Николая на престол сопряжено, по мысли Мережковского, со скорой победой темных сил над Христом.

С известием о смерти Александра I, отмечает писатель, «в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло» (18)<sup>2</sup>. Перед самодержавием напрямую встал вопрос о будущем императоре и политическом курсе страны. Мрачные краски, ирония, переходящая в сарказм, зачастую неприкрытая неприязнь – все это входит в арсенал художественных средств автора при обрисовке представителей властных структур. В описании тронных интриг и перипетий этого периода очень сильна степень авторской субъективности. Мережковский, опираясь на исторические источники, по своему, в силу своего миропонимания, интерпретирует события и исторические лица, выводя художественное повествование за пределы сухих фактов.

Так, отречение Константина от престола имеет, по мнению автора, причины как общего, так и личного плана. Характеризуя Константина, Мережковский не скрывает своего неприязненного отношения к нему: «Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навывкате, насупленные брови; торчащие густыми пучками белобрых волос... руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы... Вспоминали, как жаловалась бабушка императрица Екатерина Великая на бесчинное и бесчестное поведение внука» (18). В принципе, романист соглашается с самоопределением Константина, подписывавшего письма к учителю, французу Лагарпу: «Осел Константин». На престол вступать категорически не хотел, был в бешенстве. Такая позиция Константина Павловича отразила, в понимании автора, и его дурной нрав, и легкомысленное нежелание исполнять предначертанную законом государственную миссию.

О втором кандидате на русский престол – Николае – Мережковский пишет: «Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан, махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков... В совершенстве усвоил прусский военный устав» (20). Стремясь дать достаточно многостороннюю характеристику Николаю, писатель использует довольно широкий спектр художественных средств, одним из которых является описание наружности: «Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут.

<sup>1</sup> Аверинцев С.С. Символ // Литературная энциклопедия. М., 2001. С. 975.

<sup>2</sup> Здесь и далее роман цит. по: Мережковский Д.С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990. (В скобках указаны страницы.)

Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные... Жидкие, слабо выющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе» (25). Эта «надутость» героя становится сквозным элементом в его характеристике.

Последние события сделали его нервным и даже пугливым. Узнав, что сын-наследник плачет об оставленных в Аничкином дворце деревянных лошадах, подумал: «Нет, не о лошадка, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует» (26). Некоторые биографические подробности, о которых автор сообщает через увиденный Николаем сон, объясняют его быстро появляющееся паническое состояние. Ему приснился его страх – из-за непреклонной решимости бабушки-императрицы, велевшей вырвать кривой зуб, страх перед дядькой Ламсдорфом, грозившим высечь его большой розгой, и перед братом Константином, пытавшимся догнать убегающего «бедного Никса» (27). Для мнительного Николая это был «сон в руку». Приснившийся кошмар он соединяет с явью, испытывая страх перед ней. Решительно отказавшийся царствовать Константин, объясняющий это боязнью революции, и Николая считает трусом, но храбрым, ведь боялся тот в детстве грозы, а «революция – та же гроза» (27). Ни унижения, ни мольбы Николая не заставили Константина переменить решение. В таком взвинченно-нервном состоянии изображает писатель Николая накануне восшествия на престол.

Он подчеркивает двойственность характера Николая, духовную зыбкость, что, по мнению автора, создает почву для антагонистического противостояния в его душе божеского и дьявольского начал. «Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра... Сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется» (27). Мережковский отмечает его фактическое бессилие перед темными силами. В ожидании Манифеста, который он должен подписать, знак-предчувствие чего-то недоброго он видит в том, что не смог сыграть военную зорю на корнет-а пистоне, не было аппетита выпить чаю со сливками и сдобными булочками.

Подписание документа – важный государственный акт, узаконивающий историческое решение о престолонаследнике. При этом будущий император, подчеркивает писатель, не обладал достаточной уверенностью, столь необходимой при исполнении священного долга. Кроме того, Манифест был составлен Сперанским, которого Николай «считал якобинцем отъявленным» (28), а на мнение подданных, что тот был большим философом, весьма категорично заявлял: «Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чухотку вгоню!» (29) Но и Манифест, предложенный Карамзиным, Николай отверг. Мережковский с симпатией описывает Карамзина: «Высокого роста, благообразный, милый и важный старик... весь тихий, тишайший, осенний, вечерний» (20). Этот «милый» старик не угодил Николаю, и, по-видимому, автору жаль, что документ не понравился будущему императору, а если бы был оценен положительно, то и русская история могла стать более «тихой».

Историк Российского государства уповает на Бога: «Есть Бог – будем спокойны» (24), но понимает, что грядущие перемены не сулят ничего хорошего и спокойного: «Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!» (24)

Мережковский отмечает лицемерие Николая, читавшего пункт о порядке наследования. Отречение Константина, согласно написанному Сперанским, было принято, якобы, еще Александром I, но до сих пор не было объявлено, и теперь Николай по «коренному закону» (29) становится престолонаследником. Помня, какие унижения пришлось ему испытать, умоляя брата принять трон, и втайне надеясь, что этого не будет, Николай посчитал это объяснение невразумительным, но, тотчас почувствовав, что «на воре шапка горит» (29), приказал, «надувшись», оставить как есть. Подписал Манифест двенадцатым декабря, а не настоящим, тринадцатым, опять же в силу своих предрассудков. Подписывая документ, «подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился, но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра» (30). А вот тонкая и вместе грубая лезть Сперанского, что России нужен новый Петр Великий, пришлась ему по душе. Расценивая Петра I как Антихриста, автор привносит в повествование мотив предостережения в связи с этим пророчеством-пожеланием Сперанского. Конечно, Сперанский не приспешник дьявола, но Мережковский бросает ему упрек в слишком простом осмыслении исторического процесса, возвышающем самомнение будущего императора.

Автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного Совета и других начинаний в период царствования Александра отзывается о том времени как о «железном веке» (23), а покойного императора укоряет в нелюбви к отечеству. Пренебрежение к предыдущему правителю, высказываемое им так нарочито громко, что слышат окружающие придворные, и, с другой стороны, Александр – «отец и благодетель» (29), как Сперанский писал о нем в Манифесте. И Николай принимает такую неискренность, сознательно закрывая глаза на двусмысленность ситуации. Такое притворство, в представлении писателя, присуще двуличным политикам и проявляется в их политических решениях.

Николай занимает одну из главных позиций в системе персонажей. Но обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя, реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаясь осмыслить и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и русского самодержавия в целом. «Константин – зверь, а Николай – машина. Что лучше, машина или зверь?» (20) Такие эпитеты, данные сыновьям Павла I и Екатерины Великой, указывают на вполне определенное – отрицательное – отношение к ним писателя. Возникший в его представлениях вопрос, кого предпочесть Константина-зверя или Николая-машину, отражает, в эмоционально-категорической форме, сомнения автора прежде всего в нравственной сути русских самодержцев. Червоточина в прошлом проявляется в настоящем и

проявится в будущем, с безнадежностью размышляет он: «Два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой» (20).

Изображая дворцовую ситуацию, писатель не жалеет темных красок. Ноябрьский день короток, утром темно, и вечер наступает быстро. Но темнота – и метафора невежества, злобы, зависти, интриганства, ветхости, как физической, так и духовно-умственной. Именно такими он показывает многочисленных сановников, называя их «дряхлыми тенями». Писатель с нескрываемой иронией описывает их государеву службу – многочасовое ожидание решения Николая о Манифесте и вступлении на престол. Особое место, по контрасту с околотронной дворянской массой, занимает фигура генерал-адъютанта Бенкендорфа, «молодого среди старых, живого среди мертвых» (25). Мережковский дает ему довольно пространную, с биографическими подробностями, характеристику, отмечая «улыбку неподвижно-любезную, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых» (32). Но именно к нему Николай испытывал особое расположение, тотчас меняя при виде его выражение лица – с угрюмого на умиленное.

Мережковский психологически как бы объединяет их: и тот, и другой носят «маски», люди с потайным душевным дном, причем зачастую открывавшимся темными, недобрыми сторонами. Функциональная роль этого персонажа достаточно важна: характеризуя его, автор обрисовывает внутривластительное состояние русского общества, касаясь, прежде всего, вопросов возможной смуты, проявления неповиновения. По мнению генерал-адъютанта Александра Христофоровича, «революция в умах уже существует» (33). Он знал о тайных обществах, докладывал императору Александру о тайном обществе подполковника Пестеля, но тот не дал хода этому донесению, пролежавшему в столе четыре года. И теперь, уверен он, не надо никому говорить об этом, особенно Милорадовичу, потому что «он сам окружен злодеями» (33).

Данный герой в системе персонажей проясняет, в определенной степени, по мысли автора, оппозиционные настроения и отношение к ним Николая. Злые, наущнические слова Бенкендорфа о военном губернаторе Милорадовиче, якобы бывшем против вступления на престол Николая, воспринимаются императором как правдивые и верные. Действительно, как бы в забывчивости, Милорадович несколько раз обращается к Николаю как к его высочеству, а не величеству. На самом деле, отмечает Мережковский, Милорадович высказывал то, что будоражило многие умы, – способ восшествия на престол: «Нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол» (36).

Эти слова, опасно граничившие с обвинением Николая в самозванстве, были болезненными для него, он сам знал, что такое его коронование не имело законодательной поддержки. Милорадович же, коснувшись этой слабой позиции императора, сразу оказывается в опале, вызывая его гнев: «Бросит-

ся сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный» (37). Негодование Николая вызывает и отношение губернатора Петербурга к тайным обществам. Зная о собраниях «Полярной Звезды» у Рылеева, Милорадович расценивает их как игры, которыми забавляются «мальчишки, писачки, альманашники» (37). Взбешенный такой беспечностью, Николай выгоняет его, находя утешение в сочувствии Бенкендорфа. Для Николая Милорадович – «мерзавец», Бенкендорф – друг, но, как спешит добавить автор, Бенкендорф только «делает вид, что поддерживает» (37) самодержца. Многозначительными словами Николая: «Завтра четырнадцатое, я – или государь, или мертв» (38), – Мережковский подготавливает почву для изображения драматического момента в русской истории, создавая в повествовании атмосферу напряженности, ожидания бед.

Описывая атмосферу в штабе Рылеева 13 декабря, Мережковский как бы соглашается с Милорадовичем, называвшим заговорщиков «мальчишками, писачками», обсуждавшими серьезные планы выступления за несколько часов до начала. Идеологические построения революционеров, по убеждению писателя, далеки от божественного промысла, в них не всегда верно, а то и искаженно трактуется божественная идея. В желании, ожидании, борьбе за свободу они допускают крайние меры, противоречащие божеским заповедям.

У заговорщиков, с иронией пишет автор, словно захватывало дух от ощущения своей силы: «Что захотят, то и сделают, как решат, так и будет» (69), ведь в России очень легко сделать революцию, надо только послать печатные указания в Сенат. И о них будет страничка в истории, по восторженному желанию Александра Бестужева. Словно опьяненные собственной храбростью заговорщики готовы были прямо сейчас, ночью бежать на Сенатскую площадь. Разбушевавшийся князь Щепин кричал: «Скорее! Скорее!.. Утра ждать нечего!» (71) Фактически свою победную революцию, в художественной интерпретации автора, декабристы совершили накануне настоящего восстания.

Изображая российскую власть, пребывавшую в кризисном, переломном состоянии, и Тайное Северное общество, писатель акцентирует внимание не столько на их гражданско-политическом противостоянии, сколько на нравственной сути обеих сторон. Один из главных критериев восприятия и осмысления характеров декабристов связан с религиозными представлениями автора. Осуждая духовную слабость Николая, Мережковский не приемлет безбожие Рылеева, уверенного, что в идейной борьбе за свободу вера в «вашего» Бога приведет к рабству и соединить небо – Бога с земными делами нельзя. Для писателя это несправедные мысли, ибо Бог уже научил: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе» (78). При этом, показывает автор, Рылеев в своих призывах обращается к Богу, но, скорее, по привычке: «Итак, с Богом! Мы начнем» (40).

Мережковский приходит к одному из главных своих нравственных выводов – о двойственности идей и действий заговорщиков: высокое, чистое, святое, по своей сути, стремление к вольности, свободе переплетается у них



с низменными желаниями, поступками, противными божественному духу, но угодными дьявольскому началу. Ожесточение наравне с восторгом, братскими объятиями, целованием, как на пасху, – так с морально-этической точки зрения воспринимает и оценивает автор восстание декабристов. В русле этой оценки находятся и религиозно-мистические размышления, не всегда ясные, намеренно или неосознанно запутанные. Каре из войск вокруг памятника он называет несокрушимым, «святой крепостью человеческой совести» (96), опирающимся на скалу Петрову. Но, как кажется Голицыну, когда промелькнуло «привидение солнца» (там же), осветив памятник, «страшно жизнью ожил лик нечеловеческий» (там же). С Ним – Петром или против Него? – таким вопросом мучается и герой-декабрист, и автор. Но тот же Голицын вспоминает Бога, тоже Его, коря себя за малодушную забывчивость. После жестокой артиллерийской атаки, когда людей на площади безжалостно расстреливали, когда «все смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем хаосе» (117), Голицын, увидев Николая на белом коне, окончательно прозрел: надо «убить Зверя» (там же).

Мережковский категорически отвергает искаженно-циничное обращение с божескими заветами, что, в его восприятии, еще более обостряет противоборство добрых общечеловеческих и безжалостных дьявольских начал. Изображение «четырнадцатого» он наполняет символическим смыслом, предупреждением о надвигающейся опасности. Нева, казалось, уходит в белую мглу, за край земли и света; Медный всадник тоже скачет в эту кромешную тьму, ворона каркает, держа в клюве что-то красное, как кровь. Начавшийся мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но не восстанием, как определяли свое выступление декабристы. Писатель не скрывает своего отношения к происходящему: это светопреставление, а участники его – черти, маленькие – уличные мальчишки и «три больших черта, три штабс-капитана... Александр и Михаил Бестужевы... и князь Щепин-Ростовский, который... зарубил трех человек до смерти» (83). Боевой лагерь декабристов около памятника Петру, в художественном изложении автора, – начальный и конечный этап их выступления.

«Четырнадцатое» и для Николая, как он и предчувствовал, по уверениям автора, стало днем больших испытаний. Показав его охваченным волнением, в смятенном настроении перед принятием присяги, Мережковский, продолжая его изображение, вновь обращает внимание на беспокойное, тревожное состояние императора. И первое, о чем он говорит, был уязвивший его накануне намек на самозванство. В этом просматривается символическая связь с происходящими за пределами Зимнего дворца волнениями, главным призывом которых была славица Константину. Но связь эта, нужно сказать, довольно натянутая, схематичная. В этот знаменательный для него день Николай играет роль и надевает маску Дон-Кихота, рыцаря без страха и упрека. Но, как с насмешкой пишет Мережковский, услышав слово «бунт», совершенно потерялся, заметался, побежал на дворцовую гауптвахту, видимо, хотел приказать караулу охранять двери во дворец, выбежал за главные

ворота дворца, очутился один, без свиты на Дворцовой площади среди толпы прохожих.

В этой сцене он показывает Николая в неожиданном ракурсе. Что-то доказывая, читая и объясняя манифест, он все говорил в толпу: «Наденьте шапки, наденьте шапки – простудитесь!» (92) Люди падали на колени, целовали ему руки, хватали за одежду, кричали: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на ключья разорвем, не выдадим!» (92) И только один пьяный из толпы, как его ни били, крикнул: «Ура, Константин!» (там же) Но, увидев строившийся Преображенский полк, свиту, сев на коня, Николай вновь надевает маску благородного рыцаря. Он снова повелитель, государь, приказывающий солдатам идти туда, куда он скажет. Мережковский изображает Николая двуликим, порой грубо-несдержанным. Благодаря именно этой сердитой несдержанности он, как пишет автор, побеждал страх и дрожь во всем теле. Вместе с тем писатель отмечает и проницательность Николая, распознавшего в декабристе Якубовиче человека неискреннего, по существу – предателя своего дела, когда тот явился к нему с повинной. В интерпретации автора, Якубович был человеком недалеким, плохим актером по своей внутренней сути. Находясь близко от императора, он мог его убить, по распоряжению Рылеева накануне, но не сделал этого не из-за трусости, а оттого, что не знал, почему он должен сделать это. К тому же, с сарказмом добавляет Мережковский, ему казалось, что цареубийца «должен быть в черном платье, на черном коне и непременно, чтобы парад и солнце, и музыка. А так просто убить, что за удовольствие?» (95)

Что происходит и что нужно делать, не знали ни восставшие, ни противоположная сторона. Желание царствовать, властвовать – и внутренняя неуверенность, трусость в сочетании с показной твердостью, – эти свойства личности Николая, не опирающегося на искреннюю и истинную веру, Мережковский соотносит с помыслами и действиями заговорщиков, сравнивая, находит общее между ними. В изображении декабристов, как своеобразное художественное эхо, отражается авторское восприятие и оценка императора.

Николай так же все никак не мог решиться прибегнуть к силе артиллерии. Не хочет кровопролития, так говорит генералу Толю Бенкендорф, но автор показывает внутреннюю неуверенность Николая, граничащую с трусостью. Он не знает, на что решиться, забыл роль, которую играет в этот момент, «боялся сфальшивить» (104). И эту фальшь Мережковский подчеркивает в каждом поступке Николая, то прячущегося от пуль за забором, то выскакивающего на лошади чуть ли не к мятежникам. Надевший маску доброго и смелого рыцаря, Николай, конечно, не мог простить злых и болезненных для него выкриков из толпы, когда он проявил заботу: ведь стреляют в него, а могут попасть в них. «Мякенькой стал... лисите... а потом нашего же брата в бараний рог согнете... самозванец!» (107–108) Эта сцена появляется в романе вдруг и художественно довольно слаба, но, наверное, важна для писателя, лишний раз подметившего лицедейство Николая.

В сознании героя писатель отмечает сильные колебания, как будто какие-то силы вступили в противоборство. Он вспоминает маленького сына, улыбавшегося во сне, себя – так же улыбавшегося штабс-капитана Романова, и обращается к Богу: «Господи, спаси! Господи, помоги! – попробовал государь молиться, но не мог» (114). Еще одну возможность остановить безумие дает ему простой солдат-артиллерист, не хотевший стрелять в «своих»: «Глаза их встретились, и как будто расстояние между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека» (115). Николай, представив, что, расстреливая «своих», он убивает и сына Сашу, хотел дать команду «отставить», но, как пишет автор, «чья то страшная рука сдавила ему горло» (там же), и бойня началась. Так Мережковский изображает окончательный перелом в душе Николая, подавшегося воздействию темных сил, и разгром декабристского восстания.

Одоловший противника, Николай, пишет Мережковский, вновь вошел в свою роль, «опять пристала личина к лицу» (120), знал, что теперь уже не собьется. Лицо его оживилось, «губы заалели, как будто напились крови» (120). А заговорщики, в понимании автора, пролили кровь «напрасную». Так осмысливает и изображает писатель историческую ситуацию. Предсказания беды, несчастий, гибели, заключенные в знаке-символе «четырнадцатое», ставшие реальностью в кровавый день восстания, он распространяет и на последующие события, предвидя «грядущий ужас» (127).

Первые трагические последствия он показывает в восприятии Валериана Голицына, раненого, слабого, пришедшего на Сенатскую площадь. Воз с трупами, крытый рогожей, проруби на Неве, куда спускали мертвых и живых, раненых, без разбора, спешили очистить площадь, зловещее карканье воронов. Голицын видит, как очищали мостовую от крови, закрашивали забрызганные кровью колонны и стены Сената и на крыше ремонтировали весы, символизирующие правосудие, разбитые в прямом и переносном смысле в день восстания. Но не уничтожат следы крови, не отскребут: «... кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!» (124) – с отчаянной надеждой и верой восклицают герой и согласный с ним автор.

Изображая государя и приближенных, радующихся победе над декабристами, Мережковский подчеркивает их цинизм и равнодушие к судьбам несчастных людей. Бенкендорф, всеми силами стараясь угодить Николаю, докладывает, что арестовано много сот заговорщиков, но это не главные начальники, их нужно поискать среди сановников и членов Государственного Совета, называет Мордвинова, Сперанского, зная прекрасно, что это неправда. Таким способом он пытается бросить тень на неугодных ему людей, использовать очень благоприятный момент для собственного возвышения. И ведь почти сказал правду, вскоре оцененную государем: адмирал Мордвинов, единственный из членов Верховного уголовного суда не подписал смертный приговор декабристам. Самого Николая, видя его насквозь, старается привязать крепко к себе, завлекая как муху в паутину: «Аракчеев был – Бенкендорф будет» (127). Хочет быть при Николае вторым лицом, как

Аракчеев при Александре. Так Мережковский показывает нравственный, а вернее, безнравственный духовный мир Бенкендорфа.

Изображение Николая как человека и императора теперь, когда он наконец получил государство в правление, художественно неразделимо. Личностную двойственность Николая писатель переносит на методы его политики. С генералом Толем он надевает маску доброго, страдающего государя, называя арестованных «несчастливыми», «бедными», которых нужно пожалеть, никак не казнить. Генерал, не испытывавший сочувствия к заговорщикам, прекрасно видит лицемерие Николая: «Расплачется!» – подумал Толь с отвращением» (129). Видимо, такие же эмоции испытывает и автор. Виртуозную сменяемость Николаем масок писатель описывает в примечательной сцене допроса Трубецкого. То он кажется себе Аполлоном Бельведерским, победившем Пифона, грозно спрашивая, как полковник князь Трубецкой с его фамилией, заслугами мог связаться «с этой сволочью» (134), то надевает маску доброго, чувствительного человека, как в разговоре с Толем, – но удержаться не может, заявляя Трубецкому, что его «участь будет ужасная, ужасная!» (там же) Поддавшись бешенству, этому привычному и даже желанному, по неоднократному замечанию писателя, чувству, император в присутствии подданных бросился на Трубецкого, срывая с него погоны, повторяя «мерзавец», «мерзавец», и повалил его на пол. Тихое обращение, просьбу Трубецкого, стоявшего перед ним на коленях, Николай воспринял как призыв к его совести – и опомнился. Но последующие его действия, в описании автора, показывают, что чувство стыда также было неискренним, разыгранным.

Приказав Трубецкому написать письмо жене и увидев, что тот пишет: «Друг мой, будь покойна и молись Богу» (137), тотчас останавливает его и велит добавить: «Буду жив и здоров» (там же). Иезуитское пожелание здоровья человеку, которого сам определил в Алексеевский рavelин, в седьмой номер, а впоследствии осужденному в каторжные работы вечно, но замененные, по государевой милости, двадцатью годами. Попытался еще оправдаться своим «незавидным» положением, прощение получить у арестанта, но понял, что ничего не выходит. Еще одну неслучайную сторону характера императора Николая, исходя из своих представлений о нем, раскрывает Мережковский – способность и готовность солгать, совершить подлый поступок. Стремясь выведать у Трубецкого, где скрывается Пущин, он идет на подлог, ссылаясь на признания одного из заключенных, выдавая за показания Пущина, который якобы предал Трубецкого.

Чувствуя поддержку от Бога, обретенную благодаря любви и верности жены Екатерины, Трубецкой был спокоен и даже жалел беснующегося императора. Мережковский как бы разводит этих героев по разные стороны добра и зла, истинной веры и грешных сомнений. Ушедший от Трубецкого страх все так же мучает государя, вспомнившего день убийства отца – Павла I и боявшегося, что и его участь будет «ужасной», как он предрекал Трубецкому. И совсем уже мистический штрих: приблизившись к зеркалу, Николай

вдруг увидел, «что это не он, а кто-то другой – двойник его, “самозванец”, “император-высочка”» (138), шепчущий и смеющийся над ним.

Автор пишет о том, как нечеловеческое существование в заточении уродует личности людей. Каховский, бывший таким решительным и жестоким на площади, испытывает страх перед предельным наказанием. И другие арестанты, как рассказывает «забулдыга и пьяница» (199) доктор, лечивший Голицына, совершают тяжкие поступки. Полковник Пестель хотел отравиться, чтобы избежать пыток, поручика Анненкова едва спасли – повесился в камере на полотенце, молодому мичману Дивову всё были видения, что закалывают государя кинжалом, он рассказывал о своих снах, а людей хватили по этим доносам; полковник Булатов, узнав, что обманут Николаем, обещавшим освобождение, уморил себя голодом, подполковник Фаленберг, ложно обвинивший себя в замысле на цареубийство, ждущий освобождения и не получивший его, сошел с ума.

Только духовное раскрепощение, считает автор, делает людей стойкими, способными переносить жизненные трудности. Но процесс этот связан с большими испытаниями и не всегда приводит к угодному Богу исходу. Именно в свете таких представлений он обрисовывает характеры арестованных декабристов – Рылеева и Одоевского. Рылеев, мелькнувший в одном эпизоде при изображении восстания, теперь узник, занимает одну из важных позиций в романном повествовании. Мережковский как бы восстанавливает историческую значимость руководителя Северного Общества. В сцене допроса, яркой по художественному исполнению, автор раскрывает личности Николая и Рылеева, исходя из своих религиозных и нравственных убеждений.

Писатель обращает внимание на беспокойное душевное состояние Рылеева, путавшего реальность с призрачностью. Комендант крепости, удивленный благодарностью Рылеева за свидание с женой, которого на самом деле не было, называет его болезнь – «стень... когда наяву мерещится» (147). В сознании героя все смешалось: арест, рыдания жены, милость государя, пославшего ей деньги, письмо жены, в котором она трогательно отзывается о милосердии императора. Для Рылеева Николай по прежнему «подлец», но вдруг появляется что-то новое в отношении к нему: «Ну, а что если...» (147) Таким психически неустойчивым состоянием Рылеева и воспользовался Николай. В этот раз автор отмечает на нем маску доброго, страдающего человека – послушался совета Бенкендорфа: «Надо лаской да хитростью» (146). Разговор императора с Рылеевым Мережковский изображает как театральную постановку, ведущую роль в которой исполняет Николай. Отослал всех, в том числе и Бенкендорфа, хотя знал, что тот будет подслушивать и записывать. Не догадывался якобы, кто перед ним, но заметил, проговаривая, как бы про себя, что глаза узника честные, которые лгать не могут. Психологически тонко и умело настраивает Рылеева на волну полного доверия к себе, чтобы тот жалел его, сочувствовал. И Рылеев, как по приказу, разглядел в улыбке Николая «что-то молящее, жалкое» (148).

Прекрасно понимая, что от несостоявшихся цареубийц прощения не будет, сам просит прощения у Рылеева, целуя его. Этот момент автор показывает как поворотный: декабрист еще не верит государю, но семя сомнений уже посеяно. Чтобы вызвать арестанта на откровенность, Николай сам рассказывает ему о своей «беде». Он говорит о возложенном на него тяжелом бремени быть царем, о своем одиночестве, отсутствии советов и помощи, что никогда не забудет кровавого дня Четырнадцатого, ужас которого никогда не искупить: «Ведь я же не зверь, не изверг, – я человек» (149). Как и Рылеев, он тоже отец, у того дочь Настенька, а у него сын Саша. Много решал этими словами Николай: разбередил сердечную рану Рылеева, заставил вспомнить оказанную его семье милость, размягчил душу, облегчая тем самым свои подходы к нему. Не хотел якобы он отдавать приказ стрелять, он – отец, а народ – дитя, ведь это значит убить и своего сына Сашу. Николай произносит те слова, которые он мысленно уже говорил, перед тем как разрешить стрелять в людей, а не по-верх голов. Но тогда он был растерян, расстроен, боялся переступить опасную черту. Теперь же эти слова для него ничего не значат, они – из роли, которую он играет.

Такая змеиная тактика – выжидать и ужалить – заставила Рылеева отвечать, заговорить об Обществе, его задачах. Он вновь, замечает автор, обрел облик неукротимого бунтовщика. Но и его Мережковский не показывает только как невинную жертву, подмечая в нем неприемлемые для себя качества. Способ характеристики таков, что писатель как бы возвращает читателя к уже данной оценке героя. Слушая Николая, который называет себя его «другом», «братом», ухаживает за ним, поднося воду, капли, Рылеев долго сопротивлялся искушению: «Ну, конечно, лжет!.. оборотень» (151). Но последний выпад государя, назвавшего себя «единомышленником» заговорщиков, разрушил остатки душевной защиты Рылеева: «Сорвался – полетел, поверил» (152). Теперь Николай – «отец... Родимый царь-батюшка, красное солнышко» (153).

В оценке Мережковского, Рылеев не выдержал испытания, потому что не надеялся на божескую поддержку, и поэтому поддался сатанинскому искушению. В этих героях писатель обнаруживает общее: по разным причинам, но они переступили через добро. Свои ответы на вопросы Николая о членах организации руководитель Северного Общества уже не воспринимал как предательство: «Рылеев все выдавал, всех называл – имя за именем, тайну за тайною» (153). Подыгрывая заговорщику, Николай плакал, вызывая его истерическую жалость, вытирая своим платком свои и его слезы. Этот платок – символический знак, указывающий на то, что сближает героев, – иудины слезы. Торжествующий Николай чувствовал, пишет автор, «что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого» (154).

Допросы Одоевского, Голицына писатель изображает также как спектакли, поставленные «театральными постановщиками» Николаем и Бенкендорфом. Мережковский сознательно упустил процесс искушения Одоевского Николаем, намекая на то, что схема была та же, что и с Рылеевым. Результат

был угоден императору: теперь он для этого декабриста – «ангел». Как и Рылеев, Одоевский, в изображении Мережковского, дал важные для судей показания, но в полуобморочном состоянии, которым те воспользовались. А Голицыну «режиссеры» отвели роль заинтересованного зрителя, видевшего и слышавшего допросы своих товарищей. Но, в отличие от них, он прошел это испытание, не выдав никого.

Описав мужественное поведение декабристов-мучеников во время казни, Мережковский приводит злые, лживые слова генерала Дибича в донесении государю, сбежавшему, «как иные говорили» (253), в Царское Село: «Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала» (там же). Николай, подхватывая игру, в ответ замечает: «Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует» (там же). И все же заканчивает писатель повествование на оптимистической ноте. Голицыну в день казни его друзей комендант принес письмо от жены Мариньки. Полное надежды на будущее – вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой они хлопотали о разрешении последовать на каторгу к своим мужьям. С радостью, несмотря на ужасное известие о казни, он впитывает слова Мариньки о милости Божьей, о надежде «на покров Царицы Небесной... всех скорбящих Матери» (254). И теперь он уже знал, что Россию спасет Христос, и «Россию спасет Мать» (258). Так Мережковский выразил в этом романе уверенность в будущем спасении России.

Вторую половину жизни Николая описывает Р. Гуль. Тематический пласт романа отражает ситуацию 1830–1850-х гг. Внутренний художественный мир романа, по наблюдениям Д.С. Лихачева<sup>1</sup>, воспроизводит данное историческое время через преимущественное изображение двух исторических лиц – Николая I и революционера Бакунина. Автор выстраивает между героями психологические, политико-идеологические, нравственно-философские отношения.

Не смятенным, раздираемым внутренними духовными противоречиями, поддающимся влиянию злых сил, каким был Николай в интерпретации Мережковского, – в восприятии Гуля русский император предстает как состоявшийся, жизнестойкий человек. Сразу обращает на себя внимание его большой интерес к армии и всему, что связано с военным укладом. Эта сторона его характера, о которой писал и Мережковский, но применительно к молодому Николаю, получила развитие и стала опорой в проводимой им внутренней и внешней политике. Писатель изображает его в момент сильного раздражения: царь был недоволен линейными учениями войск 2-го пехотного корпуса и артиллерийскими маневрами под Петергофом. В армии он видел залог внешней политической мощи и внутреннего спокойствия, при этом уделяя особое внимание военной выправке. С художественной точки зрения такой ракурс изображения императора предваряет дальнейшее развитие характера в избранном ключе.

---

<sup>1</sup> Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–79.

Гуль подчеркивает могучую натуру Николая, видную как во внешнем облике, так и в государственных делах. «Пошел, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем плотную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца фигуре нельзя было отказать в властности и величии»<sup>1</sup>. Изображение Николая-императора дается и в рамках его повседневной жизни, наполненной семейными проблемами, светскими мероприятиями, сугубо личными делами. Писатель описывает «своих» приближенных, которые, тем не менее, смеются, кто тише, кто громче шуткам царя, и настроение которых улучшается, если оно меняется в лучшую сторону у императора: графа Бенкендорфа, хорошего советчика в преферанс, графа Нессельроде, в чьих «желтых ручках карты мигали, словно пойманные и готовые взлететь птицы» (456), барона Корфа и других. Карьера Бенкендорфа «взлетела» с восшествием Николая на престол, со скрытой иронией сообщает автор. Он все так же «поддерживает» императора, как в своем романе писал о нем Мережковский.

Для полноты картины Гуль дает и описание парадных помещений и личных покоев Николая. Стены в Петровском зале «обиты бархатом... канделябры и люстры серебряные... меж орлами на стенах любимые баталы Лядюнера... Крюгера, Гессе, Коцебу» (456). В комнате императора – простая койка, на которую он ложится, укрываясь простыней и шинелью. Он не изменил своим «походным» привычкам. Но мысли его – истинно государственные: «Думалось о донесениях посла Катакази о происках Англии в Греции, Посла Брунова о волнениях чартистов... Европа не давала ему сна. Николай не представлял, чтоб события оказывали ему сопротивление» (459). По сравнению с жестким заявлением вступившего на престол императора, особо отмеченным Мережковским, о том, что он не потерпит ни от кого противодействия его решениям, у зрелого Николая масштаб государственных амбиций расширился в высшей степени – он уверен в собственной силе управлять политической жизнью многих стран и народов. Самодержавие хотело, конечно, иметь покорных, не посягающих на его авторитет подданных, и для этого стремилось охранить их от «заразы» «разрушительных» идей.

Для него незыблемыми были устои российской государственности: православие, самодержавие, народность. Этот последний постулат сводился к тому, что Россия – особая страна, отличающаяся от Европы своими национальными чертами, в ней свой порядок вещей, определенный заповедями религии и мудрой политикой. Требования самобытности простирались и на повседневно-бытовой уровень, порой приобретая почти карикатурные формы. Николай со злобой думал об «идеотическом пиджаке графа Татищева», приехавшего в нем из Европы (455). В свирепость приводили его «неправильные» просьбы подданных. Невеста майора Стурта попросила его императорское величество носить ее жениху усы. «Усы в инженерном ведомстве, в любимом детище царя!» (455)

<sup>1</sup> Здесь и далее роман цитируется по изд.: Гуль Р. Скиф в Европе // Романовы. Династия в романах. Николай I. М., 1994. (В скобках указаны страницы.)



Способ повествования имеет еще одну специфическую черту. «Ценностные ориентации»<sup>1</sup> героев, по выражению Э. Фромма, в принципе, достаточно широко известны и из исторических источников, и из литературных произведений (например, Д.С. Мережковский «Четырнадцатое декабря», 1918; К.А. Большаков «Царь и поручик», 1950; М. Алданов «Истоки», 1950 и др.). В этом случае можно говорить о еще одной, довольно интересной стороне проблематики романа. Гуль, описывая противостояние диктаторской власти и революционеров, пытается показать не только пропасть, но и общее, сходное между ними. Принцип организации художественного материала в произведении проявляется в постоянном сопоставлении характеров Николая и Бакунина, прямом или подразумеваемом, в споре позиций героев, конфликте их мыслей.

Михаил Бакунин возникает в романе вдруг: «Атлет с Петра Великого... что-то львообразное и вместе детское (463). Гуль спешит выявить революционную суть «красавца, хохотуна», который сам называет себя «червонным демократом, разрушителем» (460), заявляя с глубинной убежденностью: «Свобода! Вот главная потребность человека!.. Я за эту свободу отдам всю жизнь (461). Исходя из исторической реальности того времени, когда стали развиваться разные политические взгляды, Гуль выделяет среди них коммунистов. Конечно, в силу известных причин, писателю остро необходимо было в критическом свете показать основные коммунистические идеи. Анархист Бакунин вступает в спор с коммунистом портным Вейтлингом, деятелем рабочего движения. Тот с пафосом провозглашает, что после их победы «каждому будет гарантировано полное наслаждение своей личной свободой. Этот же мир подлежит разрушению. В нем хаос и насилие» (465). Бакунин, ненавидящий коммунизм, произносит то, что думает сам автор: «Вы правы, только пока вы боретесь. Коммунистическое общество, преследующее исключительно материальные интересы, неизбежно задавит все то духовное, что растет только на свободе отдельных личностей... В устроенном по вашему плану государстве у меня нет охоты жить, так же как в царстве царя Николая (467). Так автор соотносит коммунистические идеи и самодержавную политику русского императора, выделяя общее между ними – насилие.

Своеобразным прологом отношений Николая и Бакунина является сцена разговора императора с Бенкендорфом. Николай расценивает как прямой вызов себе, – а значит, России, – неисполнение отставным прапорщиком артиллерии приказа о возвращении. Он вспоминает, что «капитан Бакунин (имеет в виду Илью Бакунина, ставшего генерал-майором) дал первый залп из пушки 14 декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал, достойным уже сейчас виселицы (469). Он предписывает лишить его всех прав состояния, заочно приговорить к ссылке в Сибирь. Распоряжение уведомить европейские правительства, что личность Бакунина вредна не только России, но всем правительствам своей агитацией и пропагандой, указывает на диктаторский характер внешней политики Николая.

<sup>1</sup> Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 200.

И во внутренней политике писатель отмечает деспотичную волю Николая, хотя деловые бумаги посылались по различным инстанциям перед окончательным царским вердиктом. По делу Бакунина представление проделало большой бюрократический путь: от министра юстиции в уголовный суд, из суда в уголовную палату, оттуда в правительствующий Сенат, затем на изучение государственному секретарю, предъявившему бумаги на мнение соединенных департаментов Государственного Совета, который принял окончательное постановление, но на основании решения Николая.

Выступлением Бакунина на вечере в Париже в память Варшавского восстания 1831 г. Гуль закрепляет непримиримое противостояние героев: русского императора, который, в оценке Бакунина, «угнетатель, раб, враг, палач стольких жертв» (477), – и одиночки-бунтаря. Он не скрывает свои взгляды, надежды на перемены, призывает к великой буре, к выступлению и поляков, и русских против общего врага – Николая. Гордясь тем, что он русский, революционер яростно критикует деспотизм в самой стране и то, что такая Россия стала «угрозой всем святым интересам человечества» (477). У «партизана революции», как назвал Бакунина Герцен, неистребимое жгучее желание: «Выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир под нашу музыку» (501). В Петербурге, по контрасту, звучала своя музыка, было время веселья: забавы, балы, маскарады. Танцевали везде – у князя Волконского, графини Разумовской, графини Лаваль, у Сухозанет. Но скоро разъяренный Николай узнает о революции во Франции и готов воевать, если анархия перебросится на Германию.

В художественном преломлении Россия того времени предстает как главная монархия, способная навести порядок в Европе. «Сколько фельдгегерей, гофкурьеров неслось по Европе, к границам России, к кабинету императора Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии. Знали: кроме Бога стоит еще одна только сила, не сломанная европейским неистовством, – царь Николай» (506). Но этот «железный человек в военном мундире» (507) переживал самое страшное: воля его уже не казалась всесильной, чтобы уберечь Европу от хаоса. Дубельт докладывает Николаю, что некоторые депутаты Славянского конгресса выдвигают преступную идею о том, что, если вспыхнет всеобщее славянское восстание, царь принужден будет, «подобно другим сдавшимся революции монархам» (508), встать во главе всего славянского движения. Взбешенный Николай приказывает оповестить Инсбрук, эрцгерцогиню Софью об этих происках разбойников, чтобы пресекли в корне авантюру, предполагая, что это идея «изверга» Бакунина.

Однако при всей непримиримости позиций самодержца и революционера Гуль замечает и общее между ними. В дни пражского восстания Бакунин произносит программную речь: «Восстанием мы разгоним всех дворян, все враждебно настроенное духовенство, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделив их между неимущими крестьянами... сжечь все административные, судебные, правительственные, господские бумаги и документы... мы двинем беспощадную революцию в Россию. Наша обязанность

будет громко провозгласить необходимость разрушения России как империи, как государства... все будет покорно одной (революционной) диктаторской власти» (517–518). Конечной целью революций, провозглашает он, будет Всеобщая Федерация Европейских Республик. Гуль указывает на аналогию анархических и коммунистических лозунгов, а также и на монархическую политику Николая I. Принципиальное сходство между ними – диктаторская власть, беспощадность.

Конфликтное противостояние бунтаря Бакунина и самодержца Николая приобрело открытый характер, хотя отношения между ними по-прежнему на расстоянии. Командующий императорско-королевскими войсками князь Виндишгрец фактически выполняет волю Николая, ожидая, когда волнения перекинутся в Австрию, – тогда он и «затянет удавку» (510). Старообрядец отец Олимпий предостерегает Бакунина, что «приказ Николая всему миру голова» (512). Так писатель трактует политическую волю императора, возможности которого распространяются далеко за пределы российского государства. Одолеть возникающие препятствия, сломить врагов, заявить свою победительную позицию – все эти качества, в оценке Гуля, присущи характеру Николая, его властной натуре.

После дрезденских волнений Бакунин был арестован. Теперь писатель изображает Бакунина – преступника, русскую свинью, как его с презрением называют судьи и конвоиры в Германии и Австрии, арестанта, закованного в ручные и ножные кандалы. Сообщение о поимке Бакунина радует русского императора, который называет его мошенником, мерзавцем, но в то же время выказывает и какую-то даже гордость, что его прапорщик заворачивал всем Дрезденом, задал перцу пруссакам и немцам. Удовлетворенно-самодовольное состояние Николая, вызванное благополучным завершением беспорядков в Европе не без участия России и поимкой «негодяя» Бакунина, автор передает, описывая, например, его императорский наряд, надетый по случаю парада на Марсовом поле: «Голубая лента, темно-зеленый мундир с красно-золотыми обшлагами» (630). И размышления его, после пережитых политических и лично-психологических потрясений – сугубо государственные: волнуют его происки англичан в Турции, кавказские дела, польские заговоры.

По контрасту с изображением императора Гуль показывает безрадостное существование заключенного, помещенного в сырой, холодный каземат, в котором окошко забито на три четверти. По предписанию Николая Бакунина не допрашивали месяц, чтобы окончательно сломить его волю. Наконец в жизни узника, душевно зыбкой, физически ужасной, происходят перемены. Граф Орлов велит ему написать полную, откровенную исповедь Николаю о всех его преступлениях и помыслах против императора, «как духовный сын пишет духовному отцу» (632).

Истинную оценку отношениям отца-императора и сыновей-подданных уже дал в своем романе Мережковский. Душевное расположение, сочувствие, обещание прощения – все это, показал писатель, было только игрой Николая, маской. Настоящее лицо «отца родимого», «красного солнышка»

открылось при допросах и в день казни декабристов. Гуль также показывает душевные колебания Бакунина. Когда сочинял свою исповедь, ему то казалось, что «доступ в сердце Николая приоткрывается» (636), то его мучили сомнения. И думал, что лучше каторга, Сибирь, палочные удары, только бы не сойти с ума в каземате. Но в отличие от декабристов-смертников, в литературной версии Мережковского, распознавших двуличную натуру императора перед неотвратимой вечностью, анархист Бакунин, в интерпретации Гуля, психологически более готов определить меру искренности Николая. Он знал, что тот хотел получить от него: чтобы он отдал «всю мечту славянской революции в Польше, в России, в мире» (636).

Уже в начале исповеди он указывает на одну из главных сторон личности Николая, понимая, что это должно тому понравиться, – его непримиримое отношение ко всякого рода непослушанию, а тем более к бунту против его воли. Безусловно, и Бакунин лукавит, и знает, что Николай это его лукавство распознает. Два месяца пребывания в сыром, темном равелине не могли стереть из памяти Бакунина ни тяжести ручных и ножных кандалов, ни сопровождающего, чистящего ружье и весело пояснявшего, что при первой попытке освобождения он застрелит арестанта, ни многое другое, такое же тяжкое и унижительное.

Наряду с важными политическими делами Николай живо реагирует на принесенную графом Орловым рукопись Бакунина в четыреста страниц. Интересно то, что Орлов по-своему верно оценил, как выяснится впоследствии, позицию автора исповеди. Он сравнил показания Бакунина с показаниями Пестеля, имя которого Николай не мог слышать. То же, по мнению Орлова, самодовольное перечисление своих враждебных воззрений, тщеславное описание темных, преступных планов – и нет и тени «возврата к принципам верноподданного» (639). Николай читает записки Бакунина с комментариями, как бы ведя диалог с ним. С чем-то соглашается, например с оценкой Европы, дряхлой, слабой, погрязшей в разврате, проистекающем от безверия. Верно угадал хитрец Бакунин нынешнюю нелюбовь императора к немцам, и Николай развеселился, повторяя – «неоспоримая истина». Но не верит до конца узнику, не чувствует его истинного раскаяния.

Автор использует прием композиционного параллелизма: вот Николай читает исповедь Бакунина при свете десяти свечей золоченого канделябра, а Бакунин в это время ворочается на тюремной койке, кашляет, задыхается. Бакунин пишет в исповеди, что не надеется на прощение всемогущего императора, а тот, в свою очередь, делает пометку о напрасной боязни, он готов простить «от глубины сердца и что повинную голову меч не сечет» (640–641). Но резолюция Николая была вполне в духе его двуличной натуры, что отмечал и Мережковский, и оправдала грустные ожидания Бакунина: «Он хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти» (641). Так и держали по его приказу пять лет «в беззвучной тишине» (642) Бакунина, сильно изменившегося, «обрюзглого, толстого, облысевшего» (642),

боявшегося сойти с ума. Знал Николай, что узники обычно кончают помещательством.

Знаменательно противительное «но», с которого начинается последующее повествование Гуль. «Но на шестом году заключения Бакунина Николай I потерпел тяжкое военное поражение в войне с Европой» (642) и в том же году умер. Пытается скрыть свое холодное отношение к Николаю автор, но описание неприглядного мертвого императора только обнажает это. А Бакунин бежал из Сибири, куда был переведен из крепости уже новым императором, Александром, вновь занялся революционной деятельностью, но вскоре, больной и нищий, умер в Бернской больнице на койке для чернорабочих.

В одном из двух эпиграфов к роману – отрывке из поэмы А. Блока «Скифы» – автор намечает свое отношение к изображаемым историческим лицам. Лирические строки указывают на смысловые аспекты романного повествования – на силу и страсть разрушителей старого мира, на противостояние России – сфинкса и «Европы пригожей», которой Россия сулит «мирные объятья». Многие лирические положения стихотворения освещают фигуру Бакунина, бунтаря, революционера, русского человека. Один из персонажей романа, немецкий поэт Г. Гервег, называет анархиста Бакунина «скифом» за его неумную энергию, силу, а композитор Вагнер – «скифом в Европе». Гуль имел в виду также и Николая, т. е. его самодержавную политику, ее разрушительную мощь, которую чувствовала на себе Европа, и не только революционная, но вполне мирная. «Скиф в Европе» – это, конечно, бунтарь Бакунин, никогда не забывавший, что он русский человек; но и российский император, всячески укрепляющий свою диктаторскую власть в Европе. Безусловно, скрытая ассоциация распространяется и на современную автору советскую Россию, которая пыталась диктовать свою волю всему миру.

Писатели освещают разные периоды жизни Николая. Мережковский – момент вступления на престол, Гуль – 1830–1840-е гг., вплоть до кончины. В организации построения характера у обоих писателей лежит принцип противостояния: у Мережковского это Николай и декабристы, у Гуля – Николай и революционное движение 1840-х – начала 1850-х гг. При этом историческая основа не означает, что литературный облик русского императора не выходит за фактические рамки или не претерпевает художественного толкования писателями. Напротив, в изображении Николая есть определенная динамика, Гуль не только и не столько продолжает хронологическую линию его жизни, но показывает собственное, во многом отличное от Мережковского, восприятие личности Николая.

*Сведения об авторе:*  
Татьяна Яковлевна Орлова,  
канд. филол. наук  
старший научный сотрудник  
филологический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова

Tatiana Ya. Orlova,  
Candidate of Philology  
Senior Researcher  
Philological Faculty  
Lomonosov Moscow State University